
Ольга Сеничева
Плата за память

Ольга Сеничева

Плата за память

«Автор»
2026

Сеничева О. Г.

Плата за память / О. Г. Сеничева — «Автор», 2026

Город Белогорье хранит камни, но забывает людей. В фундаменте старинного университета спит Змеевик — камень, который берёт плату не деньгами, а памятью, страхом за близких и способностью любить.Когда студент-филолог Артём Ветров находит в бабушкином сундуке старую конторскую тетрадь с узором змеи и неожиданную повышенную стипендию, у него остаётся ровно девяносто дней до последнего льда. Срок, за который нужно понять, кем и чем на самом деле оплачена его учёба, почему незнакомая девушка шепчет в коридоре: «Бегите, пока не поздно», и кто закрывает человеческие чувства в тёмное стекло под опись. Но как вернуть то, о чём даже не помнишь, что потерял?Это история о бухгалтерии душ и цене, которую мы платим за спасение родных. О том, как заново научиться слышать чужие шаги за спиной, различать запах ландышей и понять, что тихое «я тебя жду» — это не обещание, а спасательный трос, брошенный сквозь годы.

© Сеничева О. Г., 2026
© Автор, 2026

Содержание

АННОТАЦИЯ 6
ПРОЛОГ. НОЧЬ ПЕРВОГО СНЕГА 7
ГЛАВА 1. СТИПЕНДИЯ 8
ГЛАВА 2. КРАСНЫЕ ГЛАЗА 9
ГЛАВА 3. ТЕТРАДЬ 10
ГЛАВА 4. ВЕРА 11
ГЛАВА 5. ПОДПОЛ 12
ГЛАВА 6. ТРЕЩИНА 13
ГЛАВА 7. ПРОДЕРЖИТЕСЬ ДО УТРА 14
ГЛАВА 7-А. ТЕНДЕР 15
Конец ознакомительного фрагмента. 19

Ольга Сеничева
Плата за память

ПЛАТА ЗА ПАМЯТЬ

Городское фэнтези о цене, которую мы платим за спасение близких

Сеничева Ольга Геннадьевна

АННОТАЦИЯ

Город Белогорье помнит всё, кроме самого важного. Камень в его фундаменте берёт плату не деньгами, а памятью, виной и способностью любить. Артём находит бабушкину тетрадь — и вместе с ней девяносто дней до последнего льда: срок, за который нужно разобраться, чем на самом деле оплачена его стипендия и почему незнакомая девушка шепчет в коридоре: «Бегите, пока не поздно». Но что делать, если вспоминать почти нечего? Это история о том, как научиться снова слышать чужие шаги за спиной, различать запах ландышей и понимать, что фраза «я тебя жду» — это не обещание, а спасательный трос, брошенный сквозь годы.

ПРОЛОГ. НОЧЬ ПЕРВОГО СНЕГА

Первый снег пошёл в ночь на шестое ноября.

Белогорье не любил вспоминать. Он хранил камни, но забывал людей.

Артём вернулся из библиотеки позже обычного и застал в комнате свет: бабушкин сундук был открыт.

Тетрадь лежала сверху, обёрнутая в платок. Узор змеи на обложке — извилистая, чешуйчатая линия — при свете лампы казался живым. Рядом лежал сложенный вдвое лист: чужой, торопливый почерк, оборванные строки.

«Если читаешь это — меня уже нет. Тетрадь нельзя продать, подарить или выбросить. Её можно только дочитать до последней строки. Не всё, что я записал, я успел проверить. Верю в тебя не потому, что ты сильный. Верю потому, что ты читатель».

Глеб Сумароков. Артём не знал этого имени. Он ещё не знал, что через девяносто дней — до последнего льда — оно станет его собственным долгом.

За спиной, на полке, стояла шкатулка — та, которую отец так и не решился открыть.

Артём потянулся к тетради — и в тишине услышал голос матери. Не наяву. Так слышишь только то, чего больше нет:

— Я тебя жду.

Он обернулся. Никого. Снег за окном — и тишина, в которой звенели буквы.

Страница перевернулась под пальцами сама. Тонкий бумажный шорох — будто вздох.

Река ещё не встала. До последнего льда — девяносто дней.

Было время.

ГЛАВА 1. СТИПЕНДИЯ

Телеграмма пришла в среду, а в четверг Артём уже стоял в коридоре ректората. Бумага в его руках грелась — и от этой теплоты было не по себе: как будто держишь не справку, а чей-то пульс.

— Стипендия повышенная, — сказала секретарь, не глядя на него. — Подписано. Вопросы есть?

Вопросов не было. Была странная лёгкость, с которой всё сошлось: отец платил за учёбу три года, а теперь университет вдруг «одобрил». Взрослые говорят «повезло» — и не спрашивают, чем везение оплачивается.

В коридоре он столкнулся с ней — впервые. Девушка с бледным лицом прижимала к груди папку с документами.

— Простите, — сказал Артём, отступая.

— Это вы Ветров? — спросила она. — Новая стипендия?

— Да.

Она посмотрела на него так, будто уже знала о нём больше, чем он сам.

— Тогда бегите, — сказала она тихо. — Пока не поздно.

И ушла, не представившись. Позже он узнает: Вера Ланская. Пока он знал только, что от её слов в коридоре похолодело сильнее, чем от ноябрьского сквозняка.

Вечером он позвонил отцу. Телефон долго не отвечал — потом ответил голос, который Артём не слышал месяцами: ровный, пустой, как невыключенный утюг.

— Стипендия? — переспросил Степан Ветров. Пауза была слишком длинной. — Что ж. Подписано, значит подписано.

Артём хотел спросить — что подписано. Но не спросил. Тогда ещё не знал, что однажды это «подписано» вычеркнет из его памяти целую жизнь.

ГЛАВА 2. КРАСНЫЕ ГЛАЗА

Университет стоял на палатах — так говорили старики. Восемнадцатый век, купеческий дом Белогорских, перестроенный под аудитории. Стены дышали холодом даже в отапливаемых корпусах: студенты шутили, что фундамент сделан из вечной мерзлоты.

Артём впервые услышал слово «Змеевик» на лекции у профессора Каменева. Старик остановился посреди фразы, посмотрел в окно — туда, где под снегом лежала река — и сказал:

— Не всё, что построено, стоит на земле. Иногда земля стоит на чём-то другом.

— На чём же? — спросил кто-то из задних рядов.

— На долге, — ответил Каменев и продолжил лекцию, как будто ничего не сказал.

После лекции Артём задержался у кафедры. Каменев разбирал тетради, движения у него были точные, но пальцы дрожали — так дрожат не от возраста, а от холодеющей внутри памяти.

— Профессор, что такое Змеевик?

Каменев поднял глаза. И Артём увидел то, чего не должен был увидеть: взгляд старика на секунду стал другим — не профессорским. Детским. Так смотрят, когда вспоминают то, чего вспомнить нельзя.

— Идите домой, Ветров, — сказал он. — И не читайте чужих тетрадей по ночам.

Артём замер. Никто не знал, что тетрадь у него. Никто не мог знать.

— Откуда вы...

— Идите, — повторил Каменев. И добавил, уже в спину, тихо: — Только не идите на реку. Пока река не встала — не идите на реку.

В тот же вечер Артём видел ректора. Аргамаков стоял у окна своего кабинета, и за окном горел единственный фонарь на Пустырной. Рубиновый перстень на пальце ловил свет — и казалось, что камень внутри перстня пульсирует. Глаза ректора отражали фонарь красным.

Аргамаков обернулся — и встретился с Артёмом взглядом сквозь стекло. Ничего не сказал. Только медленно опустил руку с перстнем вниз, как опускают оружие.

ГЛАВА 3. ТЕТРАДЬ

Тетрадь была старой — не по возрасту даже, а по манере стареть. Бумага не желтела, а холодела: чем дальше в страницы, тем плотнее они становились, будто текст вмерзал в бумагу.

Первая часть — реестры. Колонки: имя, срок, плата. Почерк ровный, старательный, а в конце каждой страницы — короткая строка итога, будто кто-то закрывал смену.

«Белогорский Пётр Тимофеевич. Плата принята: память о супруге. Срок: пожизненно. Резерв открыт».

«Каменев З. И. Плата принята: память о брате. Срок: тридцать лет».

Артём читал и не мог остановиться. Он был филолог — он умел читать между строк. И между строк проступало то, чего не было ни в одном из списков: система. Не магия — бухгалтерия. Учёт душ.

На семидесятой странице он нашёл своё имя.

«Ветров А. С. Плата принята: память о матери. Договор от родителя, заверен. Срок: до полного погашения стипендиального фонда».

Стипендия. Его стипендия была графиком погашения — не долга его, а отцовского.

Он сидел долго. За окном падал снег, во дворе сгущались сумерки, и где-то хлопнула дверь — маленький, бытовой звук, от которого внутри всё оборвалось.

Имя Глеба на следующей странице было аккуратно вычеркнуто — не зачёркнуто одной чертой, а вычеркнуто: грифель обводил буквы, раз, другой, третий, до дыр. Так вычёркивают то, что боятся перечитать.

А ниже, тем же почерком, но другой рукой — мелкие, торопливые пометы. Кто-то вёл свою, параллельную летопись.

ГЛАВА 4. ВЕРА

Веру он встретил снова у читального зала — она ждала его, хотя не должна была знать, что он придёт.

— Вы читали тетрадь, — сказала она не спрашивая. — Я вижу по лицу.

— Откуда вы знаете про тетрадь?

— Мой отец не подписал контракт. Инженер-мостовик, тридцать лет строил переправы. Контракт для нас оформлял юрист попечительского совета — Ларион Мартынович Пажгин. Он единственный потом подал в отставку. А хирурга из губернии мы звали — Ливенцов: «Не доедем, батенька, разливы». Потом у отца — экспертиза, суд, и всё. Он не подписал бы, даже если бы знал, чем это кончится. Но у нас не было выбора: маме нужна была операция.

Она говорила ровно, как о чужой биографии. Только руки выдавали — пальцы теребили край рукава, и Артём заметил: рукав застиран до прозрачности.

— А вы?

— Я подписала прошлой зимой. — Она помолчала. — Не деньги. Камень денег не берёт. Он берёт вину.

— Вину?

— Способность чувствовать вину, — сказала Вера. — Мне казалось, это подарок. Подумать только — никакой вины, никакой тяжести. Я отдавала то, чего боялась, камень забирал то, что мешало мне спать.

Она подняла на него глаза — и в них не было ни слёз, ни жалости к себе. Только трещина: тонкая, как на старом фарфоре.

— Я сказала маме, что всё будет хорошо. И не соврала. Я просто больше не понимала, что такое «хорошо». Я не чувствую, что я хорошая, Артём. Это не про совесть. Это про то, что я больше не могу быть по-настоящему рядом с мамой. Я подношу ей чай — и не боюсь, что она умрёт. Понимаете? Я не боюсь. Вот что камень сделал со мной. Он забрал страх за неё — а вместе со страхом ушла вся любовь, у которой страх был кровью.

Артём молчал. Ему нечего было сказать — только посмотреть. И, кажется, она это поняла: за все месяцы после подписания первый раз кто-то просто посмотрел — не пощадив и не отстранясь.

— Ландыши, — вдруг сказала Вера. — Мама их любит. Я привезла букет в клинику и по дороге выбросила. Не понимая почему. Слишком слащаво пахнут, сказала я себе. — Она усмехнулась уголком рта. — Знаете, что самое страшное? Я до сих пор так думаю. Они до сих пор мне кажутся слащавыми. Камень не выносит живого запаха — слишком её мамино. И я ношу с собой засушенную веточку. Проверяю: если запах щемит — значит, я ещё возвращаюсь.

ГЛАВА 5. ПОДПОЛ

Спуск в подпол открывался дважды в год: до ледостава и после вскрытия. Так писалось в тетради — и Артём до последнего надеялся, что это условность. Метафора. Буквы.

Метафор не оказалось. Была лестница — каменная, узкая, с перилами, которые были холоднее воздуха. Фонарь Каменева дрожал в руке профессора, и тени бежали по стенам, как живые.

Двенадцать ступеней. Старая кладка. Пахло речной сыростью — так пахнет вода, которая долго не видела солнца.

Полки. Папки. И флаконы.

Их было много — сотни. Тёмное стекло, пробки, бирки. На каждой бирке — имя и срок. Артём подошёл ближе и прочитал ближайшую: «Эссенция: голос, поющий колыбельную».

Он не сразу понял, что перед ним. Потом понял — и отшатнулся.

— Это не воспоминания, — прошептал он. — Это чувства. Вы держите чувства в бутылках.

— Держим, — сказал Каменев за его спиной. — Держим тридцать лет.

— Кто — мы?

Каменев не ответил. Он стоял у дальней стены, у самого большого шкафа — шкафов здесь было много, а этот стоял особняком, со следами свежей пыли, как будто кто-то протирал его недавно. Не услужливо. С надеждой.

— Здесь я оставил своё, — сказал он наконец. — Память о брате. Тридцать лет назад. Я приходил сюда протирать пыль, когда ещё не знал, что забыл. Соседка с первого этажа остановила меня на лестнице — сказала: «Захар, а Игнат-то твой и не приходил нынче?» А я не знал такого. Пять лет я не знал, что у меня был брат. — Он помолчал. — В палатах, на которых стоит университет, в фундаменте — камень. Змеевик. Он берёт плату и держит её в стекле. И пока река стоит — он сильнее нас.

— А когда река вскроется?

— Тогда он будет уязвим. Девяносто дней, Ветров. Ровно девяносто дней, пока лёд держится, — есть время. Потом пройдёт вскрытие — и окно закроется до следующей зимы.

Артём поднял флакон с биркой «Ветров А. С.» — маленький, тёплый на ощупь, как живое.

И вдруг понял, что слышит — очень тихо, изнутри стекла — голос.

— Я тебя жду.

ГЛАВА 6. ТРЕЩИНА

Вера засыпала только под утро — и в те короткие часы сна ей снилась мать. Не больная, а прежняя: у рояля, в свитере с вытянутым рукавом. Мать пела — и Вера во сне знала то единственное, чего не могла знать наяву: что мама её услышит.

— Верушка, — говорила мать во сне. — Ты стала как чужая.

И Вера просыпалась — с мокрыми ресницами и сухой, ровной грудью. Она не могла заплакать. Слёзы больше не приходили: вина была отдана, а без вины не бывает тех слёз, которые прощают и держат.

Она стояла у окна и пыталась восстановить по памяти то, что чувствовала раньше. Так реставратор восстанавливает фреску: по трещинам, по тому, как легла краска. Трещина была одна, глубокая. В том месте, где раньше жила любовь, облитая страхом за ближнего.

А тетрадь в эти ночи пульсировала.

Артём заметил это первым: страница с его именем теплилась под пальцами — то остывала, то нагревалась, точно сердце за бумагой. Он положил тетрадь на подоконник, прижал ладонью и стал считать. Шестьдесят ударов. Семьдесят. Сто двадцать.

Тетрадь билась, как сердце, — и Артём вдруг понял: это не тетрадь стучит. Это его собственная память, запертая во флаконе где-то в подполе, отзывается на близость дневника. Кровь помнит, даже когда память отрезана.

Во флешбэке — редко, раз в несколько недель — приходило то, что должно было быть стёрто: запах чайника. Воскресенье, тусклый свет над раковиной, чайник свистит ровно в семь, и мать сидит на табуретке у окна с недошитым его воротником на коленях.

Она ни разу не сказала «я тебя люблю». В их семье не говорили таких слов. Она говорила: «Я тебя жду».

И флешбэк обрывался. Всегда в одном и том же месте: она поднимает голову — и Артём просыпался раньше, чем мог увидеть её глаза. Камень берёт аккуратно: не отрезает память целиком, а оставляет ровно столько, чтобы стыдно было хотеть вернуть.

«Не читай, если любишь» — он ещё не знал, что эти слова окажутся последней строкой заговора. Он ещё не знал, что ответит им вслух, один, в пустой комнате: «Я уже люблю».

ГЛАВА 7. ПРОДЕРЖИТЕСЬ ДО УТРА

Верейский нашёл их в четверг — раньше, чем они успели вернуться в подпол.

Кирилл Верейский шёл по коридору факультета так, как ходят люди, которым никогда ничего не отказывали: не быстро, не громко, — так, что коридор сам расступался.

— Ветров, — сказал он. — И Ланская. Какая экономия: оба зайца в одном лесу.

— Мы не зайцы, — сказала Вера.

— Разумеется. Зайцы бегут. — Он улыбнулся, но глаза остались холодными. — Вы всего лишь должники. Как и все. Я один человек в этом городе, у которого камень ничего не взял. Знаете почему? Потому что у меня не было ничего, что стоило бы отдать. Всё у меня и так моё.

— Тогда зачем вы здесь? — спросил Артём.

Верейский помолчал. И в этой паузе — впервые — мелькнуло что-то живое: быстро, как рыба под льдом.

— Мне интересно, — сказал он. — Больше нечего взять с вас. Я хочу посмотреть, как вы будете платить. Все платят. Вы будете.

Ночью они ушли от него по чёрному ходу библиотеки — сквозь запасник, где пахло пылью и старым клеем. За спиной слышались шаги — ровные, уверенные, неторопливые. Верейский не бежал. Он знал, что у долга нет коротких ног.

Каменев ждал их у калитки. Старик не спрашивал, что случилось, — он видел по лицам.

— Продержитесь до утра, — сказал он. — До утра ничего не решается. Утром даже камень чуть медленнее дышит.

Они сидели в его кабинете всю ночь. На столе — бронзовые часы, отставшие на четверть часа. Каменев не чинил их: за отставанием пряталось что-то, о чём старик не говорил.

А в кабинете, на шкафу, стоял кораблик — парусный, старый, с отломанной мачтой. Каменев смотрел на него так, как смотрят на то, что боится взять в руки: он знал, что поплакать над ним не сможет. И знать это было страшнее, чем не знать.

ГЛАВА 7-А. ТЕНДЕР

Слово «тендер» Кирилл Верейский любил за его сухой, металлический призвук. В нём не было ни мольбы, ни крови, ни той липкой, провинциальной тоски, которой в Белогорье пропахли даже новые кварталы. Тендер предполагал заявку, обеспечение, проверку контрагента и закрытие лота. Никто никого не просил. Никто никому не клялся на свежей земле. Просто один актив переходил на баланс другого — чисто, прозрачно, с соблюдением регламента.

В тот четверг, когда он столкнулся в коридоре факультета с Ветровым и Ланской, Кирилл не искал никого специально. Он вообще редко искал — обычно находили его. Секретари попечительского совета, юристы с поблёкшими глазами, поставщики из тех закрытых каталогов, где вместо цены стоят инициалы. В Белогорье у рода Верейских была репутация старой, но не пыльной мебели: трогать не принято, а без неё в комнате пусто.

После того разговора у лестницы Кирилл не пошёл на пару. Он спустился в гардероб, забрал пальто — тёмно-серое, тяжёлое, сшитое так, чтобы не мяться в перелётах, — и вышел на крыльцо.

Снег падал лениво, крупными редкими хлопьями, которые не долетали до земли целыми: в воздухе висела та ноябрьская сырость, при которой мороз ещё не схватил реку, но уже забрался под воротник.

Кирилл закурил. Он курил редко, скорее для того, чтобы занять пальцы, когда мысль требовала паузы.

Ветров. Первокурсник, нет, третий курс — филолог, стипендиат с внезапным повышением. Ланская — дочь того самого мостовика, который два года назад упёрся рогом на экспертизе и пошёл на дно вместе со своими чертежами. Оба — из числа тех, кого в городе называли «тихими». Люди, которые носят пальто по пять сезонов, перешивают пуговицы и верят, что если говорить вполголоса, беда пройдёт мимо.

Но в коридоре они не выглядели как жертвы.

Вот что зацепило Кирилла. Не страх — страх он видел слишком часто, страх пахнет одинаково: кислым потом и дешёвым успокоительным. У Ланской глаза были сухие, стеклянные, как у человека, который слишком долго смотрел на сварку. А Ветров смотрел на него не снизу вверх и не с ненавистью — он смотрел так, будто сверял лицо Кирилла с какой-то внутренней описью.

Как ревизор, который уже видел ведомость, но ещё не добрался до склада.

Кирилл затушил сигарету о чугунную урну, вернулся в главный корпус и пошёл не к выходу, а в сторону старого крыла — туда, где купеческая кладка Белогорских переходила в советскую пристройку сороковых годов.

В университете все знали, что под главным корпусом есть технические подвалы. Там тянулись трубы отопления, стояли старые архивные стеллажи с диссертациями восьмидесятых годов и пахло мокрой известкой. Студенты туда не ходили — неинтересно. Преподаватели спускались раз в год, когда завхоз просил подписать акт о списании макулатуры.

Но у старого крыла был другой спуск.

Кирилл знал о нём с шестнадцати лет — не из семейных легенд, в семье Верейских легенд не держали, предпочитая выписки из реестров собственности, — а из одной случайной детали. Когда реставрировали фасад после паводка двенадцатого года, подрядчик выставил университету счёт за гидроизоляцию несущей стены. Сумма была смешная, но в смете значился «демонтаж и обратная установка чугунной решётки вентиляционного колодца в уровне цоколя».

Решётку поставили новую. А старую, кованую, с клеймом литейного двора Белогорских, кто-то аккуратно перенёс внутрь — в глухой тупик за котельной, где никаких вентиляционных шахт по плану БТИ не числилось.

Кирилл прошёл мимо вахты. Вахтёрша, грузная женщина с вязанием на коленях, даже не подняла головы: фамилию Верейских в этом здании пропускали раньше, чем называли.

В коридоре цокольного этажа горела одна лампочка из трёх. Пахло хлоркой и старой бумагой. Кирилл достал из кармана телефон, включил фонарик и свернул за пожарный щит, к железной двери с табличкой «Теплоузел № 2. Посторонним вход воспрещён».

Замок на двери был навесной, амбарный, но дужка не защёлкнута — просто продета в проушину для вида. Кто-то ходил здесь регулярно и не хотел греметь ключами.

За дверью начинался узкий каменный мешок. Стены здесь были сложены не из кирпича, а из крупного, грубо отёсанного известняка — такие плиты клали в восемнадцатом веке под купеческие лабазы, чтобы весной вода не подмывала товар. Воздух сразу стал другим: сухим, ледяным, без примеси отопительной сырости.

В дальнем углу, за ржавым расширительным баком, стояла та самая кованая решётка. За ней — узкий проём, не больше плеча шириной, и ступени, уходящие вниз.

Кирилл спустился на три пролёта, остановился и прислушался.

Тишина внизу была плотной, как вата. Ни капели, ни гула труб. Только где-то далеко, словно за толстым стеклом, едва уловимо тянуло речным холодом.

Он посветил вниз. Двенадцать ступеней. Старая кладка, стёртая посередине сотнями подошв. А дальше — длинный сводчатый коридор и стеллажи.

Кирилл не стал спускаться до конца. Ему не нужно было трогать флаконы руками — достаточно было увидеть сам принцип. Сотни тёмных склянок, аккуратно расставленных по секциям, картонные бирки на бечёвке, запах старого сургуча и речной тины. И в самом конце прохода, у глухой стены, — массивный шкаф из тёмного дуба, перед которым на каменном полу виднелся свежий след от подошвы. Не мужской, узкий. И рядом — второй, пошире, с характерным шаркающим отпечатком каблука.

Каменев. И кто-то с ним.

Кирилл выключил фонарик и несколько секунд постоял в темноте.

Внутри не шевельнулось ни страха, ни благоговения. Только лёгкое, почти спортивное раздражение — такое бывает, когда обнаруживаешь, что в закрытом клубе, где ты считал себя единственным акционером с правом голоса, завёлся самодеятельный кружок. Старый профессор с трясущимися руками, студент-филолог на повышенной стипендии и девчонка с застиранными манжетами.

Они думали, что нашли тайну. А на самом деле они просто вскрыли чужое хранилище без описи.

Кирилл поднялся наверх, аккуратно прикрыл железную дверь, вернул дужку замка в проушину и пошёл прямо на второй этаж — в приёмную ректора.

Аргамаков не любил незваных гостей после шести вечера. В это время приёмная уже пустела: секретарь уходила ровно в половине шестого, оставляя на столе термос с шиповником и папку с бумагами на утреннюю подпись.

Кирилл постучал дважды — коротко, без паузы — и, не дожидаясь ответа, открыл дверь.

Ректор стоял у высокого стрельчатого окна, выходящего на Пустырную. За стеклом горел единственный фонарь, и в чёрном пространстве улицы медленно кружился снег. Аргамаков не обернулся. Только правая рука, опущенная вдоль бедра, чуть сжалась — рубиновый камень в тяжёлом золотом перстне поймал отблеск настольной лампы и вспыхнул тёмной, густой каплей.

— Верейский, — сказал ректор. Голос у него был ровный, сухой, без старческой хрипотцы. — В приёмной никого нет. Значит, ты пришёл не за подписью.

— Я пришёл с предложением, Борис Андреевич, — Кирилл прошёл к столу, не садясь, положил ладони на край зелёного сукна. — Или, если угодно, с отчётом по внеплановому аудиту.

Аргамаков медленно повернулся. В полумраке кабинета его глаза казались почти чёрными, но когда он шагнул ближе к лампе, по краю радужки пробежал знакомый красноватый отсвет — не болезнь, не игра света, а та самая фамильная метка, о которой в городе говорили шёпотом.

— Аудит проводят те, у кого есть мандат, — заметил ректор. — Твой отец в этом семестре на попечительском совете не появлялся.

— Отец в Цюрихе. У него артрит и три судебных заседания по трасту. А я здесь. И мне стало любопытно, почему в вашем ведомстве так плохо поставлена охрана периметра.

Аргамаков прищурился.

— Говори прямо, Кирилл. У меня нет времени на университетскую риторику.

— В нижнем ярусе, за теплоузлом, открыт спуск. Не взломан — именно открыт. Кто-то водит туда экскурсии.

В кабинете стало тихо. Настенные часы с маятником отсчитали три удара — медленных, тяжёлых, будто капли падали в железный таз.

— Кто? — спросил ректор, и в голосе его впервые прорезался металл.

— Профессор Каменев. И двое студентов. Ветров с филологического и Ланская — дочь того инженера, который два года назад отказался подписывать акт приёмки по набережной.

Аргамаков не дрогнул. Только взгляд его стал неподвижным, как у птицы, заметившей движение в траве.

— Ветров, — повторил он негромко. — Стипендиат. За него платил отец. Степан Ветров. Столяр с Садовой.

— Вы знаете всех поимённо?

— Я ректор, Кирилл. Моя работа — знать ведомости. — Аргамаков подошёл к столу, оперся о него костяшками пальцев. Рубин на руке прижался к зелёному сукну. — А твоя работа — учиться. Зачем ты пришёл ко мне с этим? Ты не похож на человека, который бегает жаловаться за порчу казённого имущества.

Кирилл усмехнулся. Он сел в кресло напротив — без приглашения, но с той естественной небрежностью, которая не выглядит дерзостью, потому что слишком привычна.

— Я не жалуюсь, Борис Андреевич. Мне нечего с них взять. У Ветрова за душой — одна поношенная куртка и отцовский долг. У Ланской — мать после операции и ни копейки в активе. Даже если вы их завтра отчислите, курс акций в этом городе не сдвинется ни на пункт.

— Тогда зачем?

— Затем, что мне интересен сам тендер, — Кирилл наклонился вперёд, сцепив пальцы. — Вы тридцать лет держите систему в равновесии. Попечительский совет, закрытые фонды, реестры, ледостав. Всё работает как часы. Никто не кричит, никто не судится, город получает свои дороги, клиники и стипендии, а камень в фундаменте получает свою плату. И вдруг появляются трое, которые решили, что правила можно переписать. Старик, который тридцать лет ходил мимо собственного прошлого и вдруг вспомнил, где лежит ключ. И двое нищих, которым нечего поставить на кон, кроме собственной головы.

Он замолчал на секунду, глядя ректору прямо в глаза.

— Я хочу посмотреть, как это работает, когда система даёт сбой. В Женеве на закрытых торгах такие вещи называют стресс-тестом. Выставляется лот с нулевой ликвидностью, и все смотрят, кто первый пойдёт на дефолт — должник или кредитор.

Аргамаков смотрел на него долго. Взгляд у ректора был тяжёлый, оценивающий — так старый ювелир смотрит на камень, в котором нет ни единой трещины, но нет и цвета.

— Ты думаешь, это игра, Кирилл, — сказал он наконец. — Ты вырос в доме, где за всё платили счетами. Вы с отцом привыкли, что любая потеря имеет строку в бюджете. Если сгорел дом — страховка покроет. Если ушёл человек — можно нанять другого. Вы не знаете, что такое плата, которую нельзя провести по бухгалтерии.

— Я знаю, что камень у меня ничего не взял, — спокойно ответил Кирилл. — Когда мне было восемнадцать и отец привёл меня сюда впервые, я стоял у самой кладки. Я положил руку на змеевик. И ничего не произошло.

— Потому что у тебя нечего было брать, — в голосе ректора не было ни осуждения, ни насмешки, только сухая констатация факта. — Камень берёт только то, что человек боится потерять. А ты с детства знал, что всё, что у тебя есть, принадлежит тебе по праву рождения. Нельзя отнять то, за что ты никогда не дрожал.

Кирилл чуть повел плечом.

— Тем лучше. Значит, я единственный нейтральный наблюдатель в этой комнате. У вас есть интерес — сохранить порядок. У Каменева и его студентов есть интерес — сломать замок. А у меня нет никакого интереса, кроме чистого эксперимента. Мне любопытно, что произойдёт, если не мешать им дойти до реки.

Аргамаков медленно поднял руку и посмотрел на свой перстень.

— Ты предлагаешь мне не закрывать подпол?

— Я предлагаю не спугнуть их раньше времени, — поправил Кирилл. — Если вы завтра смените замки и выставите охрану, старик затаится. Они уйдут в тень, начнут искать обходные пути, и вы потеряете контроль над ситуацией до самого вскрытия реки. А если оставить им коридор — они сами выйдут на лёд. В назначенный срок. Со всеми бумагами на руках.

Ректор молчал. За окном ветер бросил в стекло горсть сухого снега — раздался тонкий, царапающий звук, будто кто-то провёл ногтем по замёрзшей раме.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.